**Вячеслав НЕМЫШЕВ**

**Горький серый камень**

**Рассказ**

http://magazines.russ.ru/.img/t.gif

**Опубликовано в журнале:**[**«Нева» 2011, №8**](http://magazines.russ.ru/neva/2011/8/)

Вячеслав Немышев

Вячеслав Валерьевич Немышев родился в 1969 году в Волгограде. Публиковался в газете “Совершенно секретно”, журнале “Новый берег”, в альманахе “Искусство войны”; изданы роман “Буча — военный квартет” и сборник рассказов. Корреспондент канала “Звезда”.

**Горький серый камень**

Я — жалкий ничтожный человек.

Вовсе не потому, что я мерзавец или физический урод, просто я проживу в миллион раз меньше, чем камень или, скажем, песок, — я не бессмертен, как Бог.

*От автора*

Он был одинок и сентиментален, как любой старик…

От ржавой сухой земли, неровной, изъеденной уродливыми оврагами и ложбинами, истомленной черноморской жарой и лихолетьями, поднимался раскаленный воздух, пахло травами и нескончаемым крымским летом.

Старик шел вниз по каменистому склону.

Издалека он казался вполне благополучным, если бы не тонкая черная палка с изогнутой рукоятью; он заметно опирался на нее — делал следующий шаг и неловко приседал при этом на правую же ногу. Поступь его казалась тяжелой, но та уверенность, с которой старик шел вперед, говорила о твердости его характера.

Жара стояла неистовая...

На керченских приморских бульварах, где крики чаек и бестолковый гомон улиц гармонично дополняли друг друга, среди голых платанов, вскинувших вверх зеленые свои лапы, у этого Черного моря, где в порту, как добрые соседи, замерли тихоходные баркасы, роскошные белые яхты, трудяга сухогруз и десяток уродливых  рыбацких пароходиков, человеку приезжему казалось, будто здесь лучшее в мире место для курортного романа, таинственных экскурсий и ледяных устриц под белое вино. Городской пляж за мысом на песчаном откосе слыл местом приличным. В выходные дни здесь продавали холодное пиво, вареную кукурузу, домашние пирожки. Добродушные горожане грелись на августовском солнце. Обычно синяя вода искрилась, негромко ворчал прибой. Иногда море у Керченской бухты сердито гудело, потревоженное налетевшими вдруг странствующими ветрами, и тогда кудрявые волны кидались на берег, но уже через секунду они откатывались назад, утаскивая   
вглубь блестящие камни-голыши, а на песке оставалась сохнуть и умирать зеленая пряжа морских водорослей.

Ароматные керченские вечера наступали внезапно; город кутался в душистое одеяло ночного неба, бесстыжая луна неистово металась среди бисера звезд — то проваливалась в черное зеркало моря, то взбиралась на древний Митридат. И тогда по горному склону, по ступеням, по каменным головам греческих богов ровным широким потоком лился лунный свет.

Ночь не приносила желанной прохлады. Керчь задыхалась. Лишь на рассвете поливальные машины смывали под серый бордюрный камень ночную испарину улиц...

Теперь старик был внизу, под склоном.

Он остановился и приподнял козырек желтой бейсболки, платком стер со лба и висков капельки пота. Отсюда, у северного входа в каменоломни, хорошо просматривался выщербленный по склону Царский курган, самая его верхушка.

Старик постоял еще немного и медленно двинулся внутрь черной рваной дыры. Он пробирался через бесформенные глыбы известняка с настойчивостью, присущей молодому сильному человеку, что-то тянуло старика внутрь мрачных заброшенных выработок. Это “что-то” придавало ему силы и гнало прочь страх перед собственной немощью и одиночеством. Один раз он чуть не упал —лицо его исказила страдальческая гримаса, боль разрезала широкий лоб глубокими морщинами, но через мгновение взгляд его вновь стал спокойным и горестным.

Чем дальше в подземелье шел старик, тем глуше становились шаги, тем неестественней выглядела желтая оптимистичная бейсболка. Потолки и стены бесконечными перспективами сходились в самой глубине прохода. Воздух становился влажным и холодным. После обволакивающей жары Черноморья дышалось легко, но через десять минут иллюзия комфорта пропадала, и мрачный неотвратимый холод подземелья начинал душить безжалостно.

За много лет старик успел привыкнуть к корреспондентам. Их было много на его памяти, иные ушли из нее навсегда, кого-то он помнил ясно и отчетливо: молодых светлолицых, интеллигентных с фотоаппаратами и кинокамерами, яркими фонарями и наивными вопросами. Старик считал, что люди, добравшиеся до Аджимушкайской, порванной в клочья степи и спустившиеся с ним в этот подземный город, имеют право задавать любые вопросы. Он расскажет им, объяснит самое необъяснимое. Он проводит их к старым иссохшим колодцам и братским могилам, где лежат его братья. Он был одним из них. Теперь он последний живущий на этом свете солдат подземного гарнизона Аджимушкайских каменоломен.

Мальчишки-корреспонденты показались старику смешными. Они шумели, спорили друг с другом, суетились, но старик терпеливо переживал нелегкий для его лет съемочный процесс, улыбался и выполнял все, что ему говорили: он шел по заданной линии, стоял у большого камня, доставал из кармана носовой платок и стелил его на глыбу пыльного известняка, садился на него, а про себя все думал: “Ну и пусть, что ж, так надо… потерпеть можно, небось не так терпели. Э-эх! Матушка моя Богородица пресвятая, спаси и помилуй грешных нас”.

Оператор, серьезный малый, озадаченно вращал круглыми серыми глазами, все время поджимал губы, но они, по-детски пухлые и розовые, выдавали его трепетный характер и бесконечную внутреннюю борьбу эмоций и разума. Он грозно склонялся над видеокамерой, а потом, будто короткой очередью, выстреливал фразами, целясь, наверное, прямо в лоб энергичному молодому человеку в широких льняных штанах и безразмерной рубахе, на которой вызывающе синели диковинные морские рыбины.

— Я отсюда сниму. Да, точно! Ты из кадра уйди! В сторону, в сторону.

— А я говорю, чуть правее надо брать. Ближе к камню.

Владелец льняных штанов и рубахи с рыбами представился старику корреспондентом и старшим съемочной группы.

Старик снова нахмурился. Странное дело. Он хранил в памяти мельчайшие подробности, детали, полуистлевшие лоскуты дней давно минувших, а имя этого парня не запомнил. Дома старик казнил себя, переживал, тер ладонью изуродованную правую ногу. Тогда, в августе сорок второго, он чудом уцелел после одной особенно жестокой бомбежки…

Немцы бурили глубокие шурфы и опускали вниз, на самое дно, пузатые авиационные бомбы. В это время по черным коридорам подземного гарнизона бродили команды слухачей; они то и дело приседали на каменный пол, прижимались щеками к холодным известковым стенам и слушали, слушали, потому что от тонкости их слуха зависела теперь жизнь десятков и сотен людей, потому что после характерного стука лопат там, наверху, всегда наступала жуткая тишина. Эта было как игра в кошки-мышки. В роли охотников выступали немецкие саперы, сценой была жизнь, вместо грома аплодисментов рвущий перепонки взрыв авиационной бомбы. Рушились стены и потолки, заваливая улицы подземных кварталов, погребая под дымящимся раскаленным камнем людей, оружие и самое ценное — мятые фляги и трофейные немецкие котелки с мутной горькой водой.

“Странно, — думал старик, — вода была дороже жизни. Как легко привыкаешь к смерти и  как трудно привыкнуть к жажде!”

Иногда слухачи успевали обыграть хитрых румын и настырных немцев, и тогда, предупрежденные об опасности, подземные жители уходили прочь: уносили оружие, сахар, воду, раненых в самые глубокие районы Аджимушкайского лабиринта.

...Он считал себя чуть ли не демократом: он гордился своими прогрессивными взглядами и нередко в узком кругу полковых интеллектуалов критиковал политику фюрера по отношению к евреям, полякам, цыганам. Майор Штольц — “дойчен официр”. Зигмунд — так назвал его отец, получивший за кампанию четырнадцатого года Железный крест и казенный гроб из синей амбарной доски. Майор пил коньяк, жмурился на крымский малиновый закат, доигрывал очередную шахматную партию: ход конем — противник, молодой обер-лейтенант, сдался на милость победителя. Майор Штольц придумал свою игру: авиационные бомбы рвали не сразу, саперы доигрывали эту партию, замыкая цепи электродетонаторов в шахматном порядке — случайно, неожиданно, наверняка.

И чем страшнее и неотвратимее казалась смерть жителям подземного города, тем ожесточеннее дрались сержанты и майоры, главстаршины и ротные комиссары: выходили наружу, истощенные подземельем, убивали немцев и румын, резали спящих, забивали камнями.

К августу сорок второго их обложили со всех сторон: задушили газами и уморили голодом. Они воевали мертвыми, вставая из братских могил.

Дети бюргеров, их командир, почти демократ, майор Штольц, румынские пехотинцы, немцы, обер-лейтенанты и фельдфебели, в ужасе кричали: “Майн готт! Майн готт! Это демоны восстали из ада! Ад пришел на землю из проклятых каменоломен!”

Старик вытянул ногу, попробовал перевернуться на правый бок, но боль  прошила насквозь от бедра до пятки. Старик покряхтел, грудь его неровно заходила, и он задохнулся сухим вороньим кашлем.

“Так бывает,— думал старик. — Жаль, что я не запомнил имя того парня. Что-то в нем есть, болючий какой-то, жалостный. Ведь неудобно получается, пригласил в гости, а имя не запомнил. Вот дурень старый!”

Старик вдруг посмотрел вокруг себя, и волна стыдной горести захлестнула его.

— Как я живу? Это же позор! Придут люди, а у меня стариковская хибара не крашена да вонища эдакая.

В дверь постучали.

Старик не закрывался на щеколду.

Дверь распахнулась, на пороге появился молодой человек, совсем юноша. Звали молодого человека Стасиком, на самом деле ему уже исполнилось двадцать два года. Когда Стасику было четырнадцать, он носил трофейный немецкий китель, немного выцветший от времени, но довольно сносно сидевший на его ладной худощавой фигуре. Его дразнили “немцем”. Стасик не обижался, так он выражал свой протест к укорам матери, что не помогает ей по хозяйству, учителей, что нерадивый он ученик, и товарищей, что вечно его не найдешь дома, а все время он пропадает в этих ужасных каменоломнях.

Теперь Стасик возмужал. Он продал немецкую форму и стал разбираться в политике.

— Их бы сюда в каменоломни и кормить одним сахаром и самогоном.

— Кого их? — спрашивали у Стасика знакомые и знакомые знакомых.

— Ну, этих политиков!

— А почему сахаром кормить? — пытали Стасика вопросами.

— А как солдаты жили? Они полгода воевали там, в каменоломнях. Когда спустились вниз, их было тысяч десять, может, больше. Провизию, какую притащили с собой, они враз слопали. А внутри, в катакомбах, оставались склады сахара. Его там было несметные тонны. Когда они наружу перестали выходить, когда уже пал Севастополь и у них силы были на исходе, они и стали жрать тот сахар. А еще гнали самогон для медицинских целей.

— А сахар что ж, плохо есть? — интересовались дотошные собеседники.

— Дураки вы, что ли? Когда в меру, конечно, хорошо, а здесь-то ничего больше и не было. Подыхали они от сахара.

Стасик задумчиво молчал.

— Хотя эти нынешние никчемные. Эти не подохнут. Их ничем не проймешь.

В самую непогоду, когда на восточное побережье Крымского полуострова буйные ветры пригоняли свинцовые тучи и косые стрелы холодного ноябрьского дождя с визгом и воем врезались в керченскую степь, Стасик выходил из дома. Он брал с собой саперную лопатку, подпоясывал широкую рубаху солдатским ремнем, а поверх, на худые костлявые плечи, накидывал форменную плащ-палатку, доставшуюся ему в прошлогоднюю  экспедицию от добродушного киевлянина Васи.

Жалобно стукала входная дверь, и Стасик погружался в зябкий кисель тумана и дождя: он шагал, не разбирая дороги; уже по спине текло жиденькое и противное, уже зубы отстукивали осенний марш, а Стасик все шел, наклонившись вперед, чуть отвернув голову от яростных ударов ветра. За спиной оставались неясные очертания частных домов, справа вдали перемигивались огни торгового порта и фонарики жилых кварталов Керчи.

Стасик прятался в самой дальней раскисшей непролази Аджимушкайского пустыря; под ним, под этой влажной, слезливой землей таились в величественной тишине мрачные Аджимушкайские каменоломни.

Он падал на колени и принимался копать, и делал он свою работу остервенело и зло. Но постепенно движения его становились мягче и плавнее: тело разогревалось, и уже не так беспокоили его холод и дождь. Через час работы Стасик садился на корточки и упирался коленями в стенки узкого осклизлого окопчика. Остаток ночи он пытался уснуть, укрывшись с головой промокшей насквозь плащ-палаткой. Сон приходил лишь под самый рассвет: Стасик на короткие мгновения погружался в нервную дрему, но каждый раз пробуждался от неудержимого стука собственных зубов. Он замерзал настолько, что малейшее движение доставляло ему боль. Стасик сжимал зубы до скрежета и плакал…

По дороге домой, еле волоча ноги от усталости, дрожа всем телом, Стасик думал: “Нет, они не могли выдержать такое. Всего одну ночь, и я чуть живой”.

После таких экспериментов Стасик, как правило, заболевал. Однажды это было настолько серьезно, что его отвезли в больницу. Мать вздыхала горестно, отец молчал, а соседка, тетка Клавдия, говорила:

— Ну, дурак! Попробовать ему захотелось? Участи испытать? Да где ты видел живых-то, которые так вот по окопам мыкались? Нету их, не-ету! Сгинули, а кто сразу не загнулся, после войны от тоски помер.

И вдруг она всхлипывала неожиданно, шмыгала носом, качалась из стороны в сторону и жалобно по-бабьи причитала:

— И-и-и… ведь и папаня наш где-то в землицу улег! Где-е-ж, ты, родненький мой, папаня?..

Стасик кивнул деду и уверенно прошел в комнату.

— Здрасьте, дед!

Старик посветлел. Брови его, похожие на непролазные заросли ломкого, насохшего за жаркое лето чакона, взметнулись, и лицо его помолодело бесконечно.

— А-а! Пострел. Прибежал? Давно чтой-то не показывался. Забыл про меня?

А Стасик будто бы и не смотрел на старика, будто бы и не слушал его трескучий, как скрип рассохшейся двери, говор. Он хищно целил взглядом, сдвинув к переносице брови, такие же густые, как у старика, но черные до смоли; глаза его рыскали по стариковской комнате. Будто он искал что-то.

— Дед, слушай, у тебя пластинки патефонные есть? Корреспонденты просят, — и вдруг осекся на слове, вспомнив что-то важное. — Ты как сам-то, не хандришь? Я тут тебе газету свежую принес, ну и хлеба по дороге, как всегда. Ты ж сроду до магазина не дойдешь. Найдешь пластинки-то, дед?

Пятнадцать лет назад старик остался один, схоронил дорогую свою подругу, единственную во всей своей жизни жену, любимую им горячо до слез, до самой ледяной смерти. Иногда по ночам в коротких стариковских снах он гладил ее по белой холодной щеке, понимая бессонным разумом, что жена его мертва навсегда, и только одного он просил у Бога — разрешения встретиться им в том, другом мире.

Стасик, этот грубоватый и немногословный подросток, неловкий и чудной,  приглянулся старику. Они сдружились. Характер у Стасика оказался скверный, старик, наоборот же, чувствовал себя рядом с ним молодым, таким, как много лет назад, когда он вместе с тысячами измотанных солдат разгромленного Крымфронта спускался в ледяной мрак Аджимушкайских каменоломен.

— Ты чего шумишь, Стаська? Зачем тебе пластинки, да еще патефонные?

— Дед, тебе-то че? Надо, значит, — ворчал, по обыкновению, Стасик. Добрел, оправдывался, шмыгал вечно простуженным носом. — Я ж сам не знаю толком. Говорят, что-то снять надо в каменоломнях.

Старик достал из шкафа пыльную стопку патефонных пластинок, положил их на стол и аккуратно подвинул к Стасику, а потом заговорил негромко с печалью в голосе:

— Помню, как кино смотрели.

— Где? — машинально спросил Стасик, перебирая пластинки.

— Там, в катакомбах, — ответил старик. — Этот фильм остался от прежнего штаба. Там, в каменоломнях, до войны были военные склады и запасной командный пункт. Один фильм тот и остался. Знаешь какой?..

Старик загадочно сощурил единственный глаз, второй не видел уже лет десять. Когда его спрашивали, что с глазом, он отвечал: не знаю, мол, от старости, наверное.

— “Свинарка и пастух”. Вот какой! А я его после войны так ни разу и не видел. Ты знаешь что, — старик растерянно моргнул глазом, — передай корреспондентам, что я их жду прямиком ко мне в гости. Они, знаешь брат, ведь обещали клятвенно. Хотелось бы со столичными людьми побеседовать. Все-таки они информированные, не то как мы с тобой, брат Стаська. Я тут уже, значит, это самое... планчик встречи накидал…

— Пока, дед. Пиши свои планы, я пошел. Передам, — Стасик прижал к груди пластинки. — Дед, смажь петли. Скрижит, как черти.

Жалобно скрипнула калитка.

Старик тяжело вздохнул, закашлялся. Присел на лавку у старого своего дома, все тер по щекам, под глазами.

Что задумали корреспонденты, Стасику было непонятно.

Он стеснялся задавать вопросы, лишь однажды попросил закурить у сероглазого оператора. Плотный добродушный малый сам не курил, но купил пачку сигарет и отдал ее Стасику, и сделал он это так непринужденно, так обыкновенно, как будто делал это каждый день — покупал сигареты и раздавал всем вокруг.

И Стасик проникся…

С каким внутренним восторгом надевал Стасик выношенный, истертый, желтый, как морской песок, солдатский ватник, изорванный на спине и с рукавами короткими, а потому подвернутыми для виду. Он застегнул под ямочкой небритого подбородка тугой ремешок каски, а на плечо вскинул трофейный пулемет, изъеденный полувековой ржавчиной, но еще сносно выглядевший в свежей реставрационной краске. Для достоверности к ватнику пристегнули медаль “За отвагу”, взятую на время съемок из музея. Тут-то Стасик окончательно поверил в то, что прошлая его жизнь закончилась здесь, в Аджимушкайских каменоломнях.

Стасик играл всем своим существом.

Когда снимали сцену выхода из подземелья наружу, он взвалил на плечо свой МГ и пошел уверенно, как на войне. По лицу Стасика текли частые струи пота; потом он бежал по камням, старался не отстать от черной матросской спины пулеметчика Васи.

И вдруг все изменилось...

Малиновый закат окрасился бордовыми всполохами, а воздух стал густым от дыма. От запахов тяжелых и неведомых кружилась голова, пахло сгоревшим порохом, давно немытыми человеческими телами, кровью и еще ядреной смесью осенних трав. Ствол пулемета парил, обжигая руки, а над землей свистело и грохотало. Лейтенант, безусый очкарик, что-то крикнул широко и беззвучно. И в тот самый миг руки его взметнулись и вместе с немым воплем устремились в маслянистую синеву неба. Лейтенант падал, убитый наповал, медленно опускался на подломленные в смертной судороге колени. Великан Вася строчил остервенело, и пули его “дегтяря” веером шли по ложбине и, встречаясь с землей, выбивали из нее визгливые камушки, вздыбливали фонтанчики известковой пыли. С Царского кургана, с самой маковки забил по ним немецкий пулемет. Вокруг падали солдаты и матросы. Их глаза видел Стасик; они горестно смотрели в небо, а из маленьких черных дырочек на лицах густо змеилась такая же черная кровь...

Потом Стасик клялся себе, что все это было, было на самом деле, было так же наяву, как эта августовская экспедиция, эти люди с кирками и лопатами, московский режиссер, одинокий старик в подземном музее, огромное рыжее солнце над Керченской бухтой и вся человеческая жизнь, замечательная и такая печальная.

— Так, все. Эта сцена снята. Стоп. Все на исходную! — командовал корреспондент. Теперь снимаем  возвращение в каменоломни. Стасик, у тебя фактура рельефная, пойдешь на камеру последним, только пулемет переложи на другое плечо.

Стасик тяжело дышал; рядом улыбался, поправляя дужку очков, живой здоровехонький паренек из Ростова, игравший очкарика лейтенанта. Киевлянин великан Вася, ставший на время съемок пулеметчиком, скалился белозубо, облокотившись на свой “дегтярь”, глядел куда-то вверх по склону оврага, в сторону Царского кургана.

Когда старик работал в музее, он плохо спал; безжалостная память давила на грудь, и сон бежал прочь, оставляя его наедине с мыслями о днях минувших. Он любил свой город. Вернувшись из плена, рыдал на расстрелянных улицах Керчи, обнимал это море и страшно не хотел потерять эту полуголодную, счастливую мирную жизнь. Старик боялся войны, боялся как ничего более в своей жизни.

Старик шел по улице, и как-то особенно радостно было ему в этот день; одной рукой опирался на палочку, а в другой нес серый хозяйственный пакет, в котором лежали банка синей краски и бутылка водки.

Каменоломни пугали.

Иногда Стасик чувствовал дыхание чужого и неведомого, казалось, что подземелье прячет в себе страшные истории человеческих страданий.

Стасик верил в легенды.

Иногда каменоломни не пускали его внутрь. Тогда он садился на камень у самого входа, закуривал и принимался разбирать, раскладывать по частям, систематизировать собственные мысли и желания. И тут он вспоминал, что давно не навещал старика, что тот опять сидит без свежего хлеба и газет. Мысли о зарплате, которую ему давно не платили, отвлекали от большого и светлого, к чему должен стремиться человек.

...В тот год стало особенно трудно жить на скудные украинские гривны. Стасик сутками пропадал в серых пыльных выработках, то забирался в самую глубь, в таинственные потерны и закоулки, то часами разгребал не доработанные в  прошлогоднюю экспедицию завалы в поисках военных артефактов.

Одесситы приехали неожиданно, шумно ворвались в Стасикову размеренную жизнь, но главное, беспардонно вторглись на территорию Скорби и Печали. Это были отчаянные люди, и, наверное, в большей мере они были историками, чем “черными копателями”, но охота, говорят, пуще неволи, и жажда открытий перевесила меру их здравого смысла. Им нужен был проводник, знающий каменоломни. И Стасик решил немного заработать.

“Водокапы” — место знакомое и нахоженное. Там собирали воду в пластиковые бутыли, подставляя широкие срезы под капли, летящие размеренно и беспрестанно, как смена дня и ночи.

Одесситы двигались цепью, освещая себе дорогу шахтерскими фонарями. Стасик шел предпоследним, ориентируясь по желтому пятну под ногами. Через некоторое время группа оказалась в том месте, где ледяной холод подземелья соприкасался с раскаленным крымским воздухом. Плотный туман, будто пролитое молоко, стелился под ногами, поднимался до колен, вставал впереди плотной белой стеной.

И вдруг произошло нечто странное и необъяснимое.

Стасик запомнил этот момент: они как раз остановились перевести дух, и в ту же секунду в подземелье раздался дикий сатанинский хохот. Животный, нечеловече-  
ский могильный страх сковал всех. Стали гаснуть шахтерские фонари. Их свет превращался из ярко-желтого в оранжевый и почти красный. Забыв о фонарях и осторожности, одесситы помчались прочь, сбивая в кровь руки, колени, падали и наступали друг на друга. Стасик почти развернулся, почти побежал вслед за ними, но в последнее мгновение направил назад мерцающий луч фонаря. Багровый тусклый свет выхватил из мрака одинокую фигуру.

— Белая женщина, Господи, я видел ее… — повторял человек дрожащим голосом. — Я видел белую женщину!..

Стасик, недолго думая, схватил его за шиворот и потащил за собой. Стасик с трудом перебарывал страх и каждой клеткой ощущал на спине чей-то пристальный тягучий взгляд.

Одесситы выбрались наружу, побросав вещи, инструменты, палатки, не останавливаясь, рванули на вокзал. Тот, кого тащил Стасик, последний в их цепи, рассказал коротко и несвязно:

— Там был туман. Когда стали гаснуть фонари, я почувствовал, что на меня смотрят. Не знаю, как это объяснить. Я повернул фонарь в сторону тумана и увидел силуэт белой женщины. Я не рассмотрел ее лица. Но это была старуха. Она хохотала беззубым черным ртом...

Стасик рассказал эту историю старику. Тот выслушал молча, в конце спросил:

— Ты видел ее?

— Нет, — ответил Стасик.

— Это хорошо, — задумчиво произнес старик.

Так родилась легенда о белой аджимушкайской бабушке.

Лет через пять Стасик почти забыл эту историю, но как-то осенью приехали из Одессы люди и рассказали, что из той цепочки, в которую случайно или волею судьбы попал Стасик, никого не осталось в живых. Все, кто были в тот день в каменоломнях вместе со Стасиком, умерли в разное время при загадочных обстоятельствах.

Весь год Стасик боялся спускаться в каменоломни, но однажды решился. Через пару часов он поднялся на поверхность из сырых лабиринтов и понял, что аджимушкайская бабушка его простила. После этого вместе со стариком они долго сидели у дома под ветвями акации и рассуждали о превратностях судьбы.

Старик привык к одиночеству, — оно пришло в самый тяжелый момент жизни и осталось уже навсегда. Он относился к этому с философским пониманием: пришло время обдумывать и вспоминать.

Старик давно не выпивал.

Уже года три он не приглашал в дом гостей. Люди, конечно, заходили. Стасик вот прижился, соседка заглядывала. Но так, чтобы по-настоящему, с застольем и разговорами, не было уж давно.

Теперь старик ждал гостей. Москвичи обещали зайти к нему, посидеть, поговорить. Он нарвал в саду яблок, положил в тарелку и накрыл чистым полотенцем.

Стасик все дивился изобретательности корреспондентов.

Когда снимали сцену с раненым, развели костер у тех самых “водокапов”, где таинственная белая женщина напугала одесситов. Слова рождались, но были глухи и одиноки — эхо пряталось, пугливо затухало в серых камнях Аджимушкая.

— Так, медсестра, ну, погладь его по голове.

В тишине каменоломен голос корреспондента звучал глухо, надрывно.

— Да не так. Ты с него, как с покойника, пыль смахиваешь. Ласковей надо, ласковей. Ему, может, и жить-то осталось несколько минут. На ушко пошепчи ему, ну пошепчи что-нибудь. У тебя же нет ничего — ни лекарств, ни наркоза. А у него пуля в груди. Ну, вот и все, все… отходит он. Помолись, помолись… в смысле поцелуй его на прощание. Ему, может, твой поцелуй сейчас нужнее всяких лекарств.

И девочка в пыльной выцветшей гимнастерке склонилась и поцеловала раненого, поцеловала неловко, но искренне.

Корреспондент продолжал, будто с ума сошел, будто слезы его душили некстати:

— А ты что ж улыбаешься? Фу ты божа мой. Да разве ж так можно?— говорил он совсем молодому пареньку, игравшему роль матроса.

— Бескозырку назад сдвинь. Вот так. И винтовку свою обними, прижми ее, родимую, к себе. Молодец. И щекой к ней, щекой… Она теперь одна у тебя осталась, винтовочка эта. Она тебе и мать, и жена, и вся страна родная! И погибнешь  ты с винтовочкой в руках — завалит тебя каменной горой, а ты, умирая, накорябаешь углем на стене последние слова: прощайте, мол, и все такое…

Стало тихо, лишь потрескивали сухие коряги, пожираемые нещадным огнем. За оператором, не шелохнувшись, стояли люди. Языки оранжевого пламени кидались на дрожащие тени, на каменные стены падали неровные очертания человеческих силуэтов.

— Стоп, снято,— нарушил тишину корреспондент и, обернувшись к случайным зрителям, спросил: — А кто-нибудь знает, как переводится Аджимушкай?

Кто-то ему стал объяснять, рассказывать.

Актеры разошлись умываться. В это время у дымного кострища стали снимать финальную сцену. Теперь в кадре оказался сам корреспондент. Рядом с ним на камень поставили патефон. Сероглазый оператор покрутил ручку — в патефоне что-то скрипнуло, щелкнуло. Отбежав назад к камере, он скомандовал:

— Работаем!

Корреспондент выдержал паузу, привыкая к свету, и ровно, с выражением заговорил:

 — Горький серый камень — так переводится Аджимушкай. Теперь можно лишь представить себе, смоделировать фрагменты таинственной и трагической жизни подземного гарнизона. Люди во время экскурсий с легкостью верят рассказам о героической обороне и гибели защитников Аджимушкайских каменоломен, но как поверить в то, что здесь, в этом мрачном подземелье, влюблялись, сочиняли стихи, проводили комсомольские собрания и танцевали довоенные, патефонные вальсы?

Договорив, он опустил на черные бороздки пыльного винила иглу патефона и отжал рычажок тормоза. Патефонная пластинка заскрипела, и музыка вальса закружилась среди каменных глыб, среди мрака и холода.

Ночь коротка, спят облака,

и лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука.

После дорог, после тревог

я услышал мелодию вальса и сюда заглянул на часок.

Хоть я с вами совсем не знаком

и далеко отсюда мой дом,

но как будто бы снова, возле дома родного,

мы танцуем вдвоем…

Так скажите хоть слово, сам не знаю о чем.

Вокруг мелькали тени танцующих в темноте...

Никто, никто не осмелился прервать романтичного Утесова и его “Случайный вальс”.

 Когда все закончилось и корреспонденты спешно собирали приборы, скручивали провода, Стасик подошел к оператору и словно невзначай, мимоходом тихо спросил:

— Ты видел, как они слушали?

Сероглазый оператор ответил не сразу. Он выпрямился и внимательно посмотрел на Стасика.

— Ну, видел. Они там за камнями стояли.

— А ты знаешь, почему они ближе не подошли?

— Ну?

— Не ну, а чтобы вас не испугать. Тяжело им здесь. А теперь немного легче. Я точно знаю.

Старик сидел за столом и ждал.

Он вовсе не обижался.

“Ну что ж, — размышлял старик, — значит, дел у них много. Молодые. Это хорошо, что на месте не сидят, правильно это”.

На столе под белой салфеткой лежали яблоки и нарезанный крупными  ломтями черный хлеб. Чайник давно остыл. Старик слушал радио. Передавали прогноз погоды, — Керчь задыхалась от жары.

За дверью послышались шаги.

Старик вздрогнул.

— Дед, здрасьсте. Ждешь опять? Ну-ну.

На пороге стоял Стасик.

— Ты откуда, пострел? — улыбнулся старик.

— Ух, дед! Сняли как надо, музыку слушали. Этого, как его, Утесова твоего! — Стасик помялся немного у порога и шагнул в комнату. — Ты вот что, дед. Не придут они. Зря ждал, получается. Говорят, что времени у них нету.

Старик положил руку на стол и погладил сухой ладонью отполированный годами край столешницы.

— А ты знаешь, я ведь впервые после смерти жены ставни покрасил. Синие они теперь, не заметил небось? — старик вздохнул с облегчением. — Ну, бывает. Не пришли так не пришли.

Старик всхлипнул, кашлянул и кивнул Стасику:

— Доставай, что ли, поллитру из холодильника. Садись, выпьем, пострел, с тобой. За что пить, говоришь?.. А давай сначала помянем наших. Ну, а там за удачу, за жизнь. Чтоб, как говорится, дорога у корреспондентов была ровней.